

Нездешний вечер. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://tsvetaevamarina.ru/> Приятного чтения!

Нездешний вечер. Марина Ивановна Цветаева

Над Петербургом стояла вьюга. Именно – стояла: как кружащийся волчок – или кружащийся ребенок – или пожар. Белая сила – уносила.

Унесла она из памяти и улицу и дом, а меня донесла – поставила и оставила – прямо посреди залы – размеров вокзальных, бальных, музейных, сновиденных.

Так, из вьюги в залу, из белой пустыни вьюги – в желтую пустыню залы, без промежуточных инстанций подъездов и вводных предложений слуг.

И вот, с конца залы, далекой – как в обратную сторону бинокля, огромные – как в настоящую его сторону – во весь глаз воображаемого бинокля – глаза.

Над Петербургом стояла вьюга и в этой вьюге – неподвижно как две планеты – стояли глаза.

* * *

Стояли? Нет, шли. Завороженная, не замечаю, что сопутствующее им тело тронулось, и осознаю это только по безумной рези в глазах, точно мне в глазницы вогнали весь бинокль, краем в край.

С того конца залы – неподвижно как две планеты – на меня шли глаза.

Глаза были – здесь.

Передо мной стоял – Кузмин.

* * *

Глаза – и больше ничего. Глаза – и все остальное. Этого остального было мало: почти ничего.

* * *

Но голос не был здесь. Голос точно не поспел за глазами, голос шел еще с того конца залы – и жизни, – а, может быть, я, поглощенная глазами, не попевала? – первое чувство от этого голоса: со мной говорит человек – через реку, а я, как во сне, все-таки слышу, как во сне – потому что это нужно – все-таки слышу.

...Мы все читали ваши стихи в “Северных Записках”... Это была такая радость. Когда видишь новое имя, думаешь: еще стихи, вообще стихи, устное изложение чувств. И большею частью – чужих. Или слова – чужие. А тут сразу, с первой строки – свое, сила. “Я знаю правду! Все прежние правды – прочь!”... И это мы почувствовали – все.

– А я пятнадцати лет читала ваше “Зарыта шпагой – не лопатой – Манон Леско!”. Даже не читала, мне это говорил наизусть мой вроде как жених, за которого я потом не вышла замуж, именно потому, что он был – лопата: и борода лопатой, и вообще...

Кузмин, испуганно:

– Бо-ро-да? Бородатый жених? Я, сознавая, что пугаю:

– Лопатный квадрат, оклад, а из оклада бессовестно-честные голубые глаза. Да. И когда я от него же узнала, что есть такие, которых зарывают шпагой, такие, которые зарывают шпагой – “А меня лопатой – ну нет!”... И какой в этом восхитительный, всего старого мира – вызов, всего того века – формула: “Зарыта шпагой – не лопатой – Манон Леско!”. Ведь все ради этой строки написано?

– Как всякие стихи – ради последней строки.

– Которая приходит первой.

– О, вы и это знаете!

Нездешний вечер. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

* * *

О Кузмине в Москве шли легенды. О каждом поэте идут легенды, и слагают их всё та же зависть и злость. Припев к слову Кузмин был “жеманный, мазанный”.

Жеманности не было: было природное изящество чужой особи, особое изящество костяка (ведь и скелет неравен скелету, не только души!), был отлетающий мизинец чаепития – так в XVIII веке держал шоколадную чашку освободитель Америки Лафайет, так в Консьержерии из оловянной кружки пил наимужественнейший поэт Андрей Шенье – были, кроме личного изящества костяка – физическая традиция, физический пережиток, “манерность” – рожденная.

Была – севрская чашка.

Был в Петербурге XX века – француз с Мартиники – XVIII-го.

О “мази” же. Мазь – была. Ровная, прочная, темно-коричневая, маврова, мулатова, Господо-Богова. Только не “намазан” был, а – вымазан, и даже – выварен: в адовом ли кофе лирической бессонницы, в ореховом ли настое всех сказок, в наследственной ли чужеземной прикрови – не знаю. Знаю только, что ровнее и коричневее, коричневое – и ровнее – и роднее – я краски на лице не видела. Разве на лице нашего шоколадного дома в Трехрудном.

Но из этого кофейного цыганского навара, загара, идет на меня другое родное сияние: серебро. Костюм был серебряный, окружение сновиденно-невесомых и сновидение-свободных движений было – серебряное, рукав, из которого цыганская рука – серебряный. А может, и серебряным-то был (простой серый скучный) рукав – от цыганства руки? А может быть – от серебряного Петербурга – серебро? Так или иначе – в два цвета, в две краски – ореховую и серебряную – и третьей не было. Но что было – кольца. Не ручные (наперстные), если и были – не помню и не о них говорю, и не ушные – хотя к этому лицу пристали бы как припаянные, были – волосяные. С гладкой небольшой драгоценной головы, от уха к виску, два волосяных начеса, дававших на висках по полукольцу, почти кольцо – как у Кармен или у Тучкова IV, или у человека, застигнутого бурей.

Вот он закурил папиросу, и ореховое лицо его с малиновой змейкой улыбки – как сквозь голубую завесу... (А где-то завеса – дымовая. Январь 1916 года. Война.)

Занеся голову на низкую спинку дивана и природно, как лань, красуюсь... Но вдруг красованию конец:

– Вы, вы меня простите... Я все время здесь кого-то видел – и я его не вижу – уже не вижу – он только что был – я его видел – а теперь...

Исчезновение видения.

* * *

– Как вам понравился Михаил Алексеевич? – мне – молодой хозяин, верней – один из молодых хозяев, потому что их – двое: Сережа и Лёня. Лёня – поэт, Сережа – путешественник, и дружу я с Сережей. Лёня – поэтичен, Сережа – нет, и дружу я с Сережей. Сереже я рассказываю про свою маленькую дочь, оставшуюся в Москве (первое расставание) и которой я, как купец в сказке, обещала привезти красные башмаки, а он мне – про верблюдов своих пустынь. Лёня для меня слишком хрупок, нежен... цветок. Старинный томик “Медного всадника” держит в руке – как цветок, слегка отставив руку – саму, как цветок. Что можно сделать такими руками?

Кроме того, я Лёне явно должна не нравиться – он все время равняет меня, мою простоту и прямоту, по ахматовскому (тогда!) излому – и все не сходится, а Сережа меня ни по чему не равняет – и все сходится, то есть сошлись – он и я – с первой минуты: на его пустыне и моей дочери, на самом любимом.

Лёню чисто физически должен раздражать мой московский говор: – спасибо – ладно – такое, которое он неизменно отмечает: “Настоящая москвичка!” – что меня уже начинает злить и уже заставляет эту московскость – усиливать, так что с Лёней, гладкоголовым, точным, точеным – я, выходящая в скобку, со своим “пуце” и “гуце” – немножко вроде московского ямщика. Сейчас мы с Сережей ушли в кабинет его отца и там беседуем.

– Как вам нравится Кузмин?

– Лучше нельзя: проще нельзя.

– Ну, это для Кузмина – редкий комплимент...

Сажу на шкуре белого медведя, он стоит.

– А, так вот вы где? – важный пожилой голос. Отец Сережи и Лёни, известный строитель знаменитого броненосца – высокий, важный, иронический, ласковый, неотразимый – которого про себя зову – лорд.

– Почему поэты и поэтессы всегда садятся на пол? Разве это удобно? Мне кажется, в кресле гораздо приятнее...

– Так ближе к огню. И к медведю.

– Но медведь – белый, а платье – темное: вы вся будете в волосах.

– Если вам неприятно, что я сажу на полу, то я могу сесть на стул! – я, уже жестким голосом и с уже жаркими от близких слез глазами (Сережа, укоризненно: “Ах, папа!..”).

– Что вы! Что вы! Я очень рад, если вам так – приятно... (Пауза.) И по этой шкуре же все ходят...

– Crime de lèse-Majeste! То же самое, что ходить по лилиям.

– Когда вы достаточно изъясните ему свое сочувствие, мы пройдем в гостиную и вы нам почтаете. Вас очень хочет видеть Есенин – он только что приехал. А вы знаете, что сейчас произошло? Но это несколько... вольно. Вы не рассердитесь?

Испуганно молчу.

– Не бойтесь, это просто – смешной случай. Я только что вернулся домой, вхожу в гостиную и вижу: на банкетке – посреди комнаты – вы с Лёней, обнявшись.

Я:

– Что-о-о?!

Он, невозмутимо:

– Да, обняв друг друга за плечи и сдвинув головы: Ленин черный затылок и ваш светлый, кудрявый. Много я видел поэтов – и поэтесс – но все же, признаться, удивился...

Я:

– Это был Есенин!

– Да, это был Есенин, что я и выяснил, обогнув банкетку. У вас совершенно одинаковые затылки.

– Да, но Есенин в голубой рубашке, а я...

– Этого, признаться, я не разглядел, да из-за волос и рук ничего и видно не было.

* * *

Лёня. Есенин. Неразрывные, неразливные друзья. В их лице, в столь разительно-разных лицах их сошлись, слились две расы, два класса, два мира. Сошлись – через все и вся – поэты.

Лёня ездил к Есенину в деревню, Есенин в Петербурге от Лёни не выходил. Так и вижу их две сдвинутые головы – на гостиной банкетке, в хорошую мальчишескую обнимку, сразу превращавшую банкетку в школьную парту... (Мысленно и медленно обхожу ее:) Лёнина черная головная гладь. Есенинская сплошная кудря, курча. Есенинские васильки, Лёнины карие миндалины. Приятно, когда обратно – и так

Нездешний вечер. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
близко. Удовлетворение, как от редкой и полной рифмы.

После Лёни осталась книжечка стихов – таких простых, что у меня сердце сжалось:
как я ничего не поняла в этом эстетике, как этой внешности – поверила.

* * *

Сию в той желтой зальной – может быть, от Серезиных верблюдов – пустыне и читаю
стихи, не читаю – говорю наизусть. Читать по тетрадке я стала только, когда
перестала их знать наизусть, а знать перестала, когда говорить перестала, а
говорить перестала – когда просить перестали, а просить перестали с 1922 года –
моего отъезда из России. Из мира, где мои стихи кому-то нужны были, как хлеб, я
попала в мир, где стихи – никому не нужны, ни мои стихи, ни вообще стихи, нужны
– как десерт: если десерт кому-нибудь – нужен...

* * *

Читаю в первую голову свою боевую Германию:

Ты миру отдана на травлю,
И счета нет твоим врагам.
Ну, как же я тебя оставлю?
Ну, как же я тебя предаю?
И где возьму благоразумье:
“За око – око, кровь – за кровь”?
Германия, мое безумье!
Германия, моя любовь!
Ну как же я тебя отвергну,
Мой столь гонимый Vaterland,
Где все еще по Кёнигсбергу
Проходит узколицый Кант.
Где Фауста нового лелея
В другом забытом городке –
Geheimrat Goethe по аллее
Проходит с веточкой в руке.
Ну как же я тебя отрину,
Моя германская звезда,
Когда любить наполовину
Я не научена, когда
От песенок твоих в восторге
Не слышу лейтенантских шпор,
Когда мне свят Святой Георгий
Во Фрейбурге, на Schwabentor,
Когда меня не душит злоба
На Кайзера взлетевший ус, –
Когда в влюбленности до гроба
Тебе, Германия, клянусь!
Нет ни волшебной, ни премудрей
Тебя, благоуханный край,
Где чешет золотые кудри
Над вечным Рейном – Лорелей
Эти стихи Германии – мой первый ответ на войну. В Москве эти стихи успеха не
имеют, имеют обратный успех. Но здесь, – чувствую – попадают в точку, в
единственную цель всех стихов – сердце. Вот самое серьезное из возражений:

– Волшебный, премудрый – да, я бы только не сказал – благоуханный: благоуханны –
Италия, Сицилия...

– А – липы? А – елки Шварцвальда? О Tannenbaum, о Tannenbaum[1]! А целая область
– Harz, потому что Harz – смола. А слово Harz, в котором уже треск сосны под
солнцем...

– Bravo, bravo, М. И., это называется – защита!

Читаю еще:

Я знаю правду! Все прежние правды – прочь!
Не надо людям с людьми на земле бороться!
Смотрите: вечер! Смотрите: уж скоро ночь!
О чем – поэты, любовники, полководцы?

Нездешний вечер. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Уж ветер стелется, уже земля в росе,
Уж скоро звездная в небе застынет вьюга,
И под землею скоро уснем мы все,
Кто на земле не давали уснуть друг другу.
Читаю весь свой стихотворный 1915 год – а все мало, а все – еще хотят. Ясно чувствую, что читаю от лица Москвы и что этим лицом в грязь – не ударяю, что возношу его на уровень лица – ахматовского. Ахматова! – Слово сказано. Всем своим существом чую напряженное – неизбежное – при каждой моей строке – сравнение нас (а в ком и – стравливание): не только Ахматовой и меня, а петербургской поэзии и московской, Петербурга и Москвы. Но, если некоторые ахматовские ревнители меня против меня слушают, то я-то читаю не против Ахматовой, а – к Ахматовой. Читаю, – как если бы в комнате была Ахматова, одна Ахматова. Читаю для отсутствующей Ахматовой. Мне мой успех нужен, как прямой провод к Ахматовой. И если я в данную минуту хочу явить собой Москву – лучше нельзя, то не для того, чтобы Петербург – победить, а для того, чтобы эту Москву – Петербургу – подарить, Ахматовой эту Москву в себе, в своей любви, подарить, перед Ахматовой – преклонить. Поклониться ей самой Поклонной Горой с самой непоклонной из голов на вершине.

Что я и сделала, в июне 1916 года, простыми словами:

В певучем граде моем купола горят,
И Спаса Светлого славит слепец бродячий,
И я дарю тебе свой колокольный град –
Ахматова! – и сердце свое в придачу.
Чтобы все сказать: последовавшими за моим петербургским приездом стихами о Москве я обязана Ахматовой, своей любви к ней, своему желанию ей подарить что-то вечнее любви, то подарить – что вечнее любви. Если бы я могла просто подарить ей – Кремль, я бы наверное этих стихов не написала. Так что соревнование, в каком-то смысле, у меня с Ахматовой – было, но не “сделать лучше нее”, а – лучше нельзя, и это лучше нельзя – положить к ногам. Соревнование? Рвение. Знаю, что Ахматова потом в 1916–17 году с моими рукописными стихами к ней не расставалась и до того доносила их в сумочке, что одни складки и трещины остались. Этот рассказ Осипа Мандельштама – одна из самых моих больших радостей за жизнь.

Потом – читают все. Есенин читает Марфу Посадницу, принятую Горьким в “Летопись” и запрещенную цензурой. Помню сизые тучи голубей и черную – народного гнева. – “Как Московский царь – на кровавой гильбе – продал душу свою – Антихристу”... Слушаю всеми корнями волос. Неужели этот херувим, это Milchgesicht[2], это оперное “Отоприте! Отоприте!” – этот – это написал? – почувствовал? (С Есениным я никогда не перестала этому удивляться.) Потом частушки под гармонику, с точно из коробка, точно из ее кузова сыплющимся горохом говорка:

Играй, играй, гармонь моя!
Сегодня тихая заря,
Сегодня тихая заря, –
Услышит милая моя.
Осип Мандельштам, полузакрыв верблюжьи глаза, вещает:

Поедем в Ца-арское Се-ело,
Свободны, веселы и пьяны,
Там улыбаются уланы,
Вскочив на крепкое седло.
Пьяны ему цензура переменяла на рьяны, ибо в Царском Селе пьяных уланов не бывает – только рьяные!

Критик Григорий Ландау читает свои афоризмы. И еще другой критик, которого зовут Луарсаб Николаевич. Помню из читавших еще Константина Ландау из-за его категорического обо мне, потом, отзыва – Ахматовой. Ахматова: “Какая она?” – “О, замечательная!” Ахматова, нетерпеливо: “Но можно в нее влюбиться??” – “Нельзя не влюбиться”. (Понимающие мою любовь к Ахматовой – поймут.)

Читают Лёня, Иванов, Оцуп, Ивнев, кажется – Городецкий. Многих – забыла. Но знаю, что читал весь Петербург, кроме Ахматовой, которая была в Крыму, и Гумилева – на войне.

Читал весь Петербург и одна Москва.

Нездешний вечер. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
...А вьюга за огромными окнами недвижно бушует. А время летит. А мне, кажется, пора домой, потому что больна моя милейшая хозяйка, редакторша “Северных Записок”, которая и выводит меня в свет: сначала на свет страниц журналов (первого, в котором я печатаюсь), а сейчас – на свет этих люстр и лиц.

Софья Исааковна Чацкина и Яков Львович Сакер, так полюбившие мои стихи, полюбившие и принявшие меня как родную, подарившие мне три тома Афанасьевских сказок и двух рыжих лисиц (одну – лежачую круговую, другую – стоячую: гонораров я не хотела) – и духи Jasmín de Corse – почтить мою любовь к Корсиканцу, – возившие меня в Петербурге на острова, в Москве к цыганам, все минуты нашей совместности меня праздновавшие...

Софья Исааковна Чайкина и Яков Львович Сакер, спасибо за праздник – у меня его было мало.

Дом “Северных Записок” был дивный дом; сплошной нездешний вечер. Стены книг, с только по верхам приметными темно-синими дорожками обоев, точно вырезанными из ночного неба, белые медведи на полу, день и ночь камин, и день и ночь стихи, особенно – “ночь”. Два часа. Звонок по телефону: “К вам не поздно?” – “Конечно, нет! Мы как раз читаем стихи”. – Это “как раз” было – всегда.

Так к ней тороплюсь, к Софье Исааковне, которая, наверное, с нетерпением ждет меня – услышать про мой (а этим и свой) успех.

– Михаил Алексеевич! Умоляю – почитайте сейчас! А то мне – уходить. Певуче:

– Куда-а?

Объясняю.

Он, не слушая:

– За-че-ем? Здесь хорошо. Здесь очень хорошо. Нам всем – давно пора уходить.

(О как мы скоро потом – все ушли! В ту самую вьюгу, нас грозно и верно стерегшую...)

Продолжаю умолять.

Он:

– Я прочту – последнее. (Начало о зеркалах. Потом:)

Вы так близки мне, так родны,
что, будто, вы и не любимы.
Должно быть, так же холодны
в раю – друг к другу – серафимы...
И вольно я вздыхаю вновь.
Я – детски! – верю в совершенство.
Быть может... это не любовь... Но так...
(непомерная пауза и – mit Nachdruck[3] всего существа!) – похоже – (почти без
голоса)

...на блаженство...

Стихи, собственно, кончаются здесь, но как в жизни, вторым прощанием:

А ваша синяя тетрадь
С стихами... было все – так ново!
И понял я, что, вот – страдать –
и значит – полюбить другого,
незабвенное на походе и так ударение, это было именно так похоже... на
блаженство! Так только дети говорят: так хочется! Так от всей души – и груди.
Так нестерпимо-безоружно и обнаженно и даже кровоточаще среди всех – одетых и
бронированных.

* * *

Кузминского пенья я не дождалась, ушла, верная обещанью. Теперь – жалею. (Жалела уже тогда, жалела и уходя, жалела и выйдя – и дойдя – и войдя. Тем более что моя

Нездешний вечер. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
больная, не дождавшись меня, то есть не поверив обещанию, которое я сдержала, –
спокойно спала, и жертва, как все, была напрасной.)

Все:

– Но Михаил Алексеевич еще будет читать!

Я, твердо:

– Но я обещала!

– Но Михаил Алексеевич, может быть, будет петь!

Я, жалобно:

– Но я обещала!

Подходит мой милый верблюжий Сережа. Подходит сам Кузмин, чье присутствие я весь вечер непрерывно всеминутно неослабно на себе, как определенное давление, чувствовала.

– Оставайтесь же, вы так мало побыли! (И последний невинный неотразимый довод:)
Я, может быть, буду петь.

(Шепот и волнение голов, как ржи под ветром: “Будет петь... Будет петь... Будет петь...”).

– Но разве можно уйти после первой песни? Я тогда просто не уйду – никогда.
Потому – ухожу сейчас.

– Какая вы, однако, твердая! – восхищенно и немного ошельмованно – Кузмин.

– Ein Mann – ein Wort!

– Но вы ведь – Frau!

– Нет! Mensch! Mensch! Mensch[4]!

Последнее, что помню – последним оборотом головы – Кузмина, уже подходящего к роялю.

* * *

И все они умерли, умерли, умерли...

Умерли братья: Сережа и Лёня, умерли друзья: Лёня и Есенин, умерли мои дорогие редакторы “Северных Записок”, Софья Исааковна и Яков Львович, умер позже всех, в Варшаве, – Лорд, и теперь умер Кузмин.

Остальные – тени.

* * *

Кузмина я больше не видала. Но встреча с ним у меня еще была.

Вот конец моего письма к нему, в июне 1921 года, письма, сгоряча написанного к себе в тетрадку и потому уцелевшего. (Первая половина письма – живописание ему нашей встречи, только что читателем прочитанной.)

...“Вхожу в Лавку писателей, единственный слабый источник моего существования. Робко, кассирше: “Вы не знаете, как идут мои книжки?” (Переписываю стихи, сшиваю в тетрадочки и продаю. Это у нас называется – преодолеть Гутенберга[5].) Пока она осведомляется, я, pour me donner une contenance[6], перелистываю книги на прилавке. Кузмин. “Нездешние вечера”. Раскрываю: копьем в сердце – Георгий! Белый Георгий! Мой Георгий, которого пишу уже два месяца – житие. Ревность и радость, двойное острие, читаю – радость растет, кончаю – змей ревности пронзен, пригвожден. Встает из глубины памяти моя встреча.

Открываю дальше: Пушкин – мой Пушкин, то, что всегда говорю о нем – я. И, третье – Гёте, мой Гёте, мой, с шестнадцати лет, Гёте – старый! тайный! – тот, о ком

Нездешний вечер. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
говорю, судя современность: “Перед лицом Гёте...”

Прочла только эти три стиха. Ушла, унося боль, радость, восторг, – все, кроме книжки, которую не могла купить, так как ничто мое не продалось. И чувство: – раз есть еще такие стихи...

Что мне еще остается сказать Вам, кроме:

– Вы так близки мне, так родны...

Внешний повод, дорогой Михаил Алексеевич, к этому моему письму – привет, переданный мне госпожой Волковой”.

* * *

А вот – те глаза:

Два зарева! – нет, зеркала!
Нет – два недуга!
Два вулканических жерла,
Два черных круга
Обугленных – из льда зеркал,
С плит тротуарных
Через тысячеверсть зал
– Дымят – полярных.
Ужасные! Пламень и мрак!
Две черных ямы.
Бессонные мальчишки – так –
в больницах: – Мама! –
Страх и укор, ах и аминь...
Взмах величавый –
Над каменностью простынь –
Две черных славы.
Так знайте же, что реки – вспять!
Что камни – помнят!
Что уж опять они, опять
В лучах огромных
Встают – два солнца, два жерла,
Нет – два алмаза –
Подземной бездны зеркала:
Два смертных глаза.
(Написано и отослано ему в июне 1921 года с письмом.)

* * *

Я эту вещь назвала “Нездешний вечер”. Начало января 1916 года, начало последнего года старого мира. Разгар войны. Темные силы.

Сидели и читали стихи. Последние стихи на последних шкурах у последних каминов. Никем за весь вечер не было произнесено слово фронт, не было произнесено – в таком близком физическом соседстве – имя Распутин.

Завтра же Сережа и Лёня кончали жизнь, послезавтра уже Софья Исааковна Чайкина бродила по Москве, как тень ища приюта, и коченела – она, которой всех каминов было мало, у московских привиденских печек.

Завтра Ахматова теряла всех, Гумилев – жизнь.

Но сегодня вечер был наш!

Пир во время чумы? Да. Но те пировали – вином и розами, мы же – бесплотно, чудесно, как чистые духи – уже призраки Аида – словами: звуком слов и живой кровью чувств.

Раскаиваюсь? Нет. Единственная обязанность на земле человека – правда всего существа. Я бы в тот вечер, честно, руку на сердце положила, весь Петербург и всю Москву бы отдала за кузминское: “так похоже... на блаженство”, само блаженство бы отдала за “так похоже”... Одни душу продают – за розовые щеки, другие душу отдают – за небесные звуки.

Нездешний вечер. Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
И – все заплатили. Сережа и Лёня – жизнью, Гумилев – жизнью, Есенин – жизнью,
Кузмин Ахматова, я – пожизненным заключением в самих себе, в этой крепости –
вернее Петропавловской.

И как бы ни побеждали здешние утра и вечера, и как бы по-разному –
всеисторически или бесшумно – мы, участники того нездешнего вечера, ни умирали –
последним звучанием наших уст было и будет:

И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.
1936

Примечания

1 Ель (нем.).

2 Мальчишка, молокосос (нем.).

3 Порыв (нем.).

4 “Человек – слово!” – “Но вы ведь – женщина!” – “Нет! Человек! Человек!
Человек!” (нем.)

5 Слово, принадлежащее Б. К. Зайцеву (примеч. М. Цветаевой).

6 Чтобы занять себя (фр.).

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://tsvetaevamarina.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы,
недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет
магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных
сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!